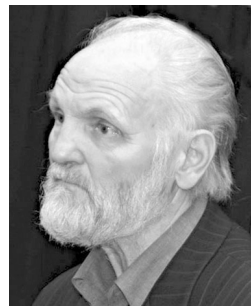


Владимир Кручин



ИСЦЕЛЕНИЕ

Рассказ

Ранней осенью в монастыре отпевали хорошего человека. Сладкий кадильный дым, умиротворяющие слова молитв, согласное пение хора снимали скорбь, умиротворяли.

После отпевания архимандрит пригласил меня к себе и решительно сказал:

– Сколько я ещё могу отпевать? Конечно, Богу виднее, кого призывать, но Он не возбраняет нам заботиться о здоровье. А оно необходимо для трудов во славу Божию. Так? Вы согласны?

– Н-ну да, – я не понял, к чему это сказано.

– Вот что, – решительно сказал архимандрит, – и не вздумайте отказываться от моего предложения.

– Какого?

– Вы плохо выглядите. Надо вам немедленно лечь на обследование. У нашего спонсора есть договорённость с одним очень хорошим лечебным центром. За неделю ничего не изменится. Вас полностью обследуют, дадут какие-то рекомендации. Может, где-то что-то надо подвинтить, что-то убавить, а что-то прибавить. Усилить защиту против инфаркта-инсульта. Как раз сегодня арендованная спонсором отдельная палата освободилась. Завтра с утра будьте готовы.

– Но...

– Вы служили в армии?

– Так точно.

– А у нас дисциплина сильнее, чем в армии. Примите как послушание.

Вернулся домой – жена встречает очень радостная.

– Это же очень хорошо – обследоваться. Врач звонил, говорит, чтоб ты взял халат, пижаму и шлёпанцы.

– Но у меня нет халата и пижамы, – обрадовался я. – Может, не примут?

– Есть же летние брюки лёгкие, и туфли летние есть. И приличные тапочки. И курточка лёгкая. Я уже приготовила. Вот ложечка для заварки, тебе Валя подарил, вот чай. Но врач сказала: там нет посещений. Почему?

– Почему вообще меня туда везут?

– Обследоваться! Тебе это надо. Ты плохо спишь.

– Да сейчас уже и медведи в берлоге плохо спят.



И вот жизнь моя назавтра с утра резко изменилась: в сопровождении монастырского врача я был доставлен в этот медицинский центр. Ехал с великой неохотой, надеялся, что что-то сорвётся, и я вернусь. Ещё ограда устроила – высокая, плотная, по верху обведённая колючей проволокой. Проволоку облагораживал оплетавший её дикий виноград.

– Тут был связанный с обороной режимный объект. В 90-е ликвидировали, потом ни то, ни сё, потом вот медицина, – объясняла врачиха.

На проходной, оказывается, и пропуск был уже заказан. В приёмном отделении она меня сдала другому врачу, та велела мною заняться женщине в синем халате. А эта отобрала у меня верхнюю одежду и обувь, видимо, чтобы не сбежал, дала больничные тапочки и сопроводила в терапевтическое отделение. Просторный лифт, потом длиннющие чисто вымытые пустые коридоры с дверьми справа и слева. Очень похоже на тюрьму для блатных. Завела в кабинет, где у меня прослушали грудь и спину, измерили давление, и ещё одна сопровождающая привела, наконец, в отдельную палату. Стол, стул и какая-то замысловатая кровать на шарнирах. На стене провода, кнопки, табличка: время приёма пищи, процедуры, подъём, отбой, номера телефонов дежурной.

Я хотел полежать на кровати, я же лёг на обследование. Собирался осмыслить перемену в жизни, но даже и не присел: пришла медсестра и повела к заведующей. Попросила отключить телефон. А он у меня, оказывается, и вообще сегодня не включался. На ходу сообщила, что из центра выходить нельзя, только по заявлению, которое подпишет лечащий врач и которое заверит завотделением.

А вскоре сама завотделением обрадовала ещё и тем, что это обследование не неделя, а минимум десять дней. Да и то, сказала, это очень быстро для полного обследования. Очень много анализов, и разовых и повторных, всё это скоро не бывает. И из пальца, и из вены, и сок желудочный, и, конечно, моча. И капельница, и таблетки утром и вечером, и всякие рентгены. Кардиограммы, энцефалограммы. УЗИ. И процедуры. И глотание маленькой телекамеры, тоже всё будет.

– А выходить, значит, нельзя?

– По специальному разрешению. Но у вас будет такой плотный график, что выходить будет просто некогда.

Я затосковал: уж хватило бы в моей жизни заборов, ограждений и оград, но куда тут денешься, архимандриту надо подчиняться.

Подписал, не читая, несколько многостраничных бумаг, вернулся в палату. Подошёл к окну. И такой мне вид открылся! Он меня необычайно восхитил и даже примирил с ролью временного жителя в запертом пространстве. Центр этот на юго-востоке столицы. Из окна палаты был вид на Московскую кольцевую автодорогу, МКАД, за ней Николо-Угрешский монастырь. В нём я, конечно, бывал. Но была видна ещё и церковь села Беседы, вот что впечатлило. Я её многократно замечал, когда проносился по этой кольцевой трассе. И справа налево, и слева направо. Невольно возникло сравнение с наброшенными на город овальными обручами хула-хуп. И Москва их крутит, вращаясь одновременно и туда и сюда. Она такая – всех завертит. А может, и они её.

Но вот почему-то в церковь Рождества Христова в Беседах не получалось заехать: или торопился, или ещё что. Всегда жалел: село Беседы значительно для русской истории. Не только от того, что тут располагались великокняжеские угодья, но главное – тут происходил военный совет – беседа – перед Куликовской битвой.

И я возмечтал побывать в Беседах. Казалось, село близко. Дойти до кольцевой автострaды, перейти её, тут и церковь. Может, тут километра два. Да, надо жене позвонить, обещал же. Но когда было звонить? И только начал тыкать в кнопки мобильного, как в палату, безо всякого стука, пришла женщина в белом, в затемнённых очках и – ни здравствуйте, ни прошу прощения – сразу:

– Отключите телефон, садитесь. Я ваш лечащий врач. Римма Оскаровна. Левую руку кверху ладонью на стол.

Стала измерять давление. Потом прослушивать.

– А от чего меня лечить? – спросил я. – От старости же не лечат. У меня оба дедушки у врачей не бывали, а жизнь-то какая им досталась, и ничего, жили. До старости дрова пилили-кололи. Хочу на них походить.

Моя разговорчивость ей не понравилась. Так я понял. Или она немножко недослышивала. Также я сообразил, что они у меня все равно чего-то найдут. А дальше по кругу: примутся одно лечить, другое тоже захочет лечиться, и уже из этого круга не выскочить. Тут только начни.

– Меня же только на обследование положили. Так-то я себя хорошо чувствую. Если что-то и есть, так возраст всё-таки.

Я всё-таки надеялся, что она даст мне от ворот поворот, то есть получится, что не сам отсюда убегу. А убежать мне захотелось.

– Зачем меня здесь держать? – рассуждал я, тоскливо глядя на белые стены. – Живу же. Не слепой, не глухой. А если что и есть, так это нормально. Надо же от чего-то умирать.

Врачиха, никак не реагируя на моё нытьё, присела к столу и стала заполнять бумажки, похожие на квитанции. Может, она меня и не слышала. Протянула несколько штук:

– Это уже на сегодня. На завтра у дежурной медсестры. С утра не завтракать, анализ крови.

Снова померила давление.

– Нормальное? – спросил я. – Третий раз за два часа измеряете. Конечно, оно от переживаний прыгает.

– А какое для вас нормальное? – спросила она.

– Не знаю, – честно сказал я. – Да зачем и знать? Прекрасно себя ощущаю! Может, ничего мне и не нужно? Поеду обратно?

– Вы прибыли на обследование, – холодно сказала она, – а в этом обследовании многие десятки параметров, кроме кровяного давления.

– Хорошо, спасибо.

Я взял бумажки.

– Давайте познакомимся, – сказала она.

– Так мы же уже знакомы. Вы – Римма Оскаровна.

– С вашим организмом. Снимите рубашку.

Выслушивала она мои внутренности внимательно. Эти с детства знакомые: дышите-недышите.

– Повернитесь спиной.

Простучала лопатки и рёбра.

– Рёбра ломали?

– Да. Восьмое и девятое слева. Но всё зажило.

Она присела. И стала допрашивать и записывать, будто сама вела протокол:

– Рост?

– Прямо военкомат. Вообще всегда было метр восемьдесят, но сейчас, чувствую, уменьшаюсь.

– Вес?

Она, наверное, была врач-робот.

– Тоже по-разному. Но стараюсь за семьдесят семь не заезжать. Две семёрки, а не три. Шутка. Был портвейн знаменитый «Три семёрки».

– Пьёте?

– В тяжком прошлом. «Для пьянства вот какие поводы: крестины, свадьба, встречи, проводы, уха, защита, новый чин и... просто пьянство без причин».

Даже не моргнула.

– Бывает утомляемость?

– Ну да, я ж не трактор. Трактор и то...

– Изжога?

– Бывает. Но это у меня с армии. Там, знаете, чем изжогу лечил? Пеплом от сигареты. Я же, дураком был, ещё и курил.

– Головокружение при перемене положения тела?

– Так как не бывать, бывает. Если согнуться, да резко разогнуться. Но можно резко и не разгибаться.

– Дискомфорт в левой стороне груди?

– Поволнуюсь когда. С женой когда поссорюсь. Тут да, дискомфорт.

– Боли в шейном отделе позвоночника?

Я напряг затылок и признался:

– Это тоже есть. Но это опять же всё как у всех.

– За всех не надо отвечать. Снижение памяти?

– Да вроде пока помню. Где позавтракал, туда же обедать иду...

Я надеялся, что врач понимает шутки.

– Конечно, уже не как молодой. Да и зачем много-то помнить. «Отче наш» выучил и хватает.

– Горечь во рту? Отрыжка?

– Можно, я рубашку надену? – спросил я.

– Можно не спрашивать. Икота?

– Бывает. Но скажу: икота, икота, иди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого, то без всякого лекарства проходит.

Нет, врачиха, а ведь молодая ещё, была без эмоций.

– Перенесённые заболевания, операции? Какие, когда, под каким наркозом? Общим, местным? Контакт с инфекционными больными?

Я перестал шутить, отвечал на вопросы. Сообщил о перенесённых пяти операциях под общим наркозом.

– Но они были давно, хорошо прошли, всё прошло.

– Ложитесь. Растегните ремень. Спустите брюки.

Она стала мять живот.

– Тут чувствуете? Тут? Тут?

– Везде чувствую, – доложил я. – Но нигде не болит.

– Сядьте. Покажите язык. Высуньте побольше. Уберите. Повернитесь вправо. Так. Теперь влево.

Она и в уши поглядела, и глаза проверила, заставив поводить ими в разные стороны.

– Это так, прикидочно. Подробнее уже специалисты.

Подержалась за пульс. Чего-то ещё написала...

Нет, это была не женщина, это был робот. Её, наверное, делали в Японии по спецзаказу.

Она встала:

– Какие будут просьбы?

– Будут. Убрать телевизор.

– Но можно же не смотреть.

– Нет, даже один его вид вызывает аллергию.

Она пожалала плечами и вышла. Я включил телефон, сразу занывший. На экранчике прочёл: номер такой-то. Конечно, жена звонила. Семь раз. Вызвал её, даже оправдываться не стал: она с ума сходила, думала, что случилось, я же не отвечал. Не сумев до меня дозвониться, в Интернете нашла телефоны центра, меня отыскивали в списках отделения, даже сказали ей номер телефона палаты. Но и он не отвечает.

– Ты меня в могилу загонишь!

– Осмотр был. У меня минуты не было, чтоб позвонить.

– Именно для меня не было.

– Я не знал, что в палате есть телефон... А, вижу – над кроватью. А, он в розетку не включённый. Включаю. А какой у меня номер? А, тут написан.

– Осмотр был, и что?

– Я весь больной.

– Я это знала. Что-то серьёзное? Будут лечить?

– Будут в гроб загонять. Помнишь шутку про врачей? Консилиум: «Ну что, лечить будем, или пусть живёт?» Или вторая: «Несмотря на все наши старания больной выжил».

– Что-то серьёзное, я спрашиваю?

– Абсолютно здоров. Хоть в космос отправляй. Будешь женой космонавта.

В палату постучали.

– Извини, пришли, позвоню. Да!

Пришёл мужчина в синем халате с белым воротником.

– Сказали телевизор у вас забрать. Они не шутят?

– Здесь разве шутить умеют? Да, спасибо, заберите.

– А что так?

– Ненавижу.

– Так-то так, – согласился он. – Но а вдруг «Барселона» играет.

– Так чего ж ты не за своих болеешь?

– Я за игру болею. А наши что? По минуте думают: пнуть по мячу или указаний подождать. В Лондоне, в 68-м, по-моему, когда мы победили, им нечего было на приём к королеве надеть. За родину воевали, нынешние за деньги, где ж тут победы будут? Ну, вообще-то на чемпионате поднажужились, да и то, даже не четвертушка, восьмушка. Так и то, какое ликование развели.

– Но победы нужны, как без них?

– Без них никак. Какая боль, какая боль: Россия – Саудовская Аравия: пять – ноль.

Он ушёл, я стал звонить жене. Она ответила, но в дверь вновь постучали. Дежурная. Принесла ещё листочки. Разложила на столе. И те, что заполнила врачаха, тоже разложила. Стала объяснять порядок посещения кабинетов.

– Этаж, номер, время, всё прописано. Сложено по порядку. Лучше приходите заранее. А то у нас есть любители лечиться. Ещё запомните номер стола. У вас пока общий. То есть не диета. Уже скоро обед. Или сюда принести?

– Это уже когда залечите до лежачего положения, тогда.

Ну эта хотя бы улыбнулась.

На обеде, куда потихоньку сходились люди в пижамах, меня удивила тишина. Даже ложки-вилки не брякали. За компотом все ходили со своими кружками. У меня своей не было. Раздатчица удивилась, но тут же взяла белую больничную кружку, ополоснула, потом сказала: «Кипятком поливаю, это будет ваша персонально, возьмите с собой в палату. У вас должен быть чайник».

– Нет, не видел.

Когда вернулся в палату, чайник, тоже белый, стоял на тумбочке. Подошёл к окну – в воздухе пропархивали мелкие желтые листочки. Смеркалось. Сейчас всё раньше будет наступать вечер, потом и вовсе зима.

Стук в дверь. Да, надо же куда-то, в какой-то кабинет... Медсестра, уже другая, принесла капельницу. В перевёрнутой большой мензурке болталась какая-то жидкость.

– Ложитесь. Закатайте рукав левой руки. Поработайте кулачком, пожимайте и поразжимайте пальцы.

Прощупала пальцами с маникюром кожу на сгибе локтя, протёрла влажной ваткой, уколола в это место иглой, которая продолжалась прозрачной трубочкой, и по ней из мензурки начало поступать в мой организм, прямо в кровь, что? Лекарство? Какое, от чего?

– Когда раствор дойдёт вот досюда, нажмите эту кнопку, – сказала она и ушла.

Что ж я улёгся под капельницу без книги, без молитвенника? Да, телефон же есть.

– Ну и новость! – воскликнула сразу жена.

– Какая?

– Ты не знаешь? У вас объявлен карантин. Посещения запрещены.

– Ну, всё одно к одному: и меня не скоро выпустят. Я под капельницей лежу. Что вливают, не знаю. Пока жив.

Опять входят и опять без стука. Вроде рано капельницу убирать. Нет, не медсестра, моя врачиха. С бумагами. Села, их пересматривает. Я молчу. Капли каплют.

– В Интернете нашла ваши данные трехлетней давности. Были серьёзные болезни за это время?

– Нет.

– Но отчего так резко снизились все параметры? Ещё подождём анализов.

Наконец-то ушла. Ещё поговорил с женой.

– Я отсюда сбегу.

– Не вздумай. Перед отцом Тихоном как ты будешь выглядеть?

Сняли капельницу. Ходил по коридорам и кабинетам. В одном брали на анализ слюну, в другом был какой-то тест, в котором требовалось находить что-то похожее в разных картинках. Уровень детского сада. Может, меня за дурака принимали. В третьем несколько раз дышал в широкую трубку.

– Вы как гаишники, поймавшие водителя за превышение скорости и подозревающие алкоголь.

Сотрудницы кабинета ничего даже на это не сказали. Я понял, шутить здесь лучше не надо.

У меня наступило какое-то состояние прострации. То есть я как бы замер в своих чувствах, внушив себе, что надо просто пережить эти дни, это обследование. Ну да, тюрьма. Но ведь кормят, отдельная палата. Отдыхай. А все равно что-то томило и угнетало. А чего, кажется, горевать: жизнь идёт, ещё чего-то делаешь, никому не в тягость. А то, что ничего тебе в этой теперешней жизни не нравится, так это стариковское брюзжание. Ты такой не один. Я в отца. Такой же. «До какого сраму дошли, – говорил, – а ещё до какого дойдём». Так что к старости я встал на накатанные рельсы. Но это же не эгоизм, не о себе думаю, о России. Да я, в общем-то, и в юности не был всем довольным, хотя и бунтарём особо не был. И диссидентство всегда было мне противно. Открытая борьба – это да. Понятие родины, страны, державы, Отечества было для меня святым. А отсюда всё остальное. И когда, уже давным-давно, стал причащаться, жить стало и легче и труднее. Легче, потому что знал: Господь не оставит. Труднее, потому что резче увиделась вся насевавшая на Россию бесовщина.

Ходил и ходил по коридорам и лестницам. И все эти передвижения около казённых стен напоминали о посещениях в больницах много болевших друзей. Да. А эта врачиха спрашивает, чем переболел? Друзей потерял, вот и вся причина. И сам, в свою очередь, заумирал. И это ошутимо почувствовал.

Моё пребывание в этом центре стало двуплановым: в одном состоянии меня обследовали, лечили, в другом я непрерывно погружался в мысли о только что ушедших в жизнь вечную друзьях. Здесь всё помогало их вспоминать.

Вспомнил, как мы с поэтом Анатолием Гребневым, естественно вятским, навещали в Перми, в обкомовской больнице Виктора Астафьева. Его слабые лёгкие потребовали ремонта. Сидели у него в отдельной палате. Помогли переодеться в сухую рубашку. Смотреть на его шрамы, рубцы, напоминающие ранения, было тяжело. На месте левой лопатки под кожей даже видно было, как бьётся сердце. Но он вовсю шутил, веселил нас фронтовыми историями. Речь сдабривал матерками. Пришла медсестра: «Вам укольчик». – «Куда?» Она покраснела: «В мышцу». «Ой, девушка, – сказал Виктор Петрович, разворачиваясь, – уж какая там мышца, давно задница». И тут же сказал ей частушку, но вполне приличную: «Медсестра меня спросила: “Может, вам воды подать?” – “Ничего не надо, дочка, я уж начал остывать”». Когда мы уходили, в коридоре эта медсестра отчитывала важного дядю, видно, что начальника: «У вас такая пустяковая болячка, и вы так по-хамски себя ведёте, такие капризы. А вот в седьмой палате фронтовик, весь израненный, еле дышит и ещё шутит».

А вообще, думал я, вся моя московская жизнь – это, по сути, сплошные больницы. И свои, и родных, и близких. И эти похожие друг на друга коридоры, в которых санитарка орудует шваброй, примотав к ней мокрую мешковину, эти столы дежурных медсестёр за барьером с постоянно трещащими телефонами, процедурные кабинеты, запахи столовой, в которую бредут со своими кружками, ароматы мочи и хлорки, всё более-менее похоже. И эти больные, половина из которых непременно недовольна порядками в больнице: врачам тут надо нести дорогие подарки,

медсёстры делают уколы за деньги, а если не платишь, то делают уколы больно, на кухне воруют, а санитарка специально открывает окно, чтоб сделать сквозняк.

Всех больниц, где лежал, где делали операции, где кого-то навещал, ни за что подробно не вспомнить, но хотя бы помянуть добрым словом 68-ю в Текстильщиках и родильный дом рядом, детскую Морозовскую и детскую Филатовскую, Медсантруд на Таганке, больницу МПС, военные госпитали в Сокольниках и Красногорске, ветеранскую в Кузьминках и общедоступную Московскую на Спортивной, городскую в Филах, Пироговской центр и, конечно, самый мрачный центр онкологии на Каширке и детскую онкологию имени Димы Рогачёва, а больше всего Боткинскую, в которой и сам лёживал, и знакомый батюшка, и тёща, и в которую на «скорой» увозили жену, и мне позволили сидеть у неё в ногах...

А что говорить о последних десяти годах тяжело болевшего друга. Его помещали и в самые простые больницы, и в больницы элитарные, военные, профильные, в медицинские и обычные, и научно-исследовательские институты. Везде лечили. Лечили, лечили и залечили. Вот его вроде вылечат, выпишут, всегда очень дорогие, лекарства и отпустят. Улетает на родину. А там... там попадает в больницу. И там лечат. Бывало, я и там навещал.

– Как понять? – рассуждал он. – Тут спрашивают: как вас лечили? Откуда я знаю. Ну, анализы всякие брали, лекарства вот такие прописали. Говорят: вас неправильно лечили, выбросьте эти лекарства. Вам нужны другие. Мы вас вылечим. А я что, я слушаюсь.

Да, сказать, не поверят: иногда одна таблетка стоила ему несколько тысяч. И кто-то будет упрекать его за то, что он получал премии?

У него после двух страшных избиений, черепной травмы были провалы памяти, тяжелейшие головные боли. И постоянно точились слёзы. «Я без носового платка из дома не выхожу. Уже не для носа, для глаз», – шутил он. Шутил, а как всё переносил? А главное, что досаждало, убавляло здоровья – его вытаскивали на многие официальные, чаще всего ему совсем не нужные мероприятия. Он, по общему негласному признанию и друзей, и врагов, был лицом русской литературы, и ему приходилось тащить воз этого признания. Пойти в Центральный комитет, в Совет министров, во всякие другие органы, чтобы чего-то добиться, за кого-то попросить – это всё лежало на нём. Председатель Союза писателей очень иногда был безжалостен: «Валентин, у нас завтра монголы, очень хотят тебя видеть. Ну, удели полчаса». Какое там полчаса, день пропадал. Потом и китайцы, и сербы приезжают, и вся Европа, и несчастному Валентину опять приходится тащиться в Союз писателей, подолгу пить чай с очередной делегацией, говорить ни о чём, терять время и здоровье. А как его донимали с просьбами написать предисловие, дать интервью, а сколько напрашивалось в гости. И приходили, и подолгу сидели, будто готовя будущую фразу в воспоминаниях: «И когда я приходил к нему в квартиру на Староконоушенном, то всегда говорил ему: “Валентин Григорьевич, берегите себя, вы нам очень нужны”». Сберегли.

Горбачёв просил его войти в Президентский совет. Вошёл. Не чего-то ради, а для добрых дел во славу России. То, что Оптину пустынь вернули Церкви – прямая заслуга Распутина. Он говорил об Оптиной и с Горбачёвым, и с «архитектором перестройки» Яковлевым. До этого мы бывали в ней и видели «мерзость запустения, пророком предреченную». Вспоминали потом пьющего мужичка, которому дали квартиру в келье преподобного Амвросия Оптинского и который извлекал

из этого много полезного себе. «Я же вижу, шапки снимают, крестятся, ну и я. Я тоже человек. Когда и денежку подбросят». Подбросили и мы. Очень благодарил и сказал, что это ему на вечер, а пока у него есть. И закуска есть. «Садитесь, парни. Сейчас стаканы вымою».

Сорок три года мы были дружны. Осенью 72-го я прилетел на совещание молодых писателей от издательства «Современник». Два месяца назад утонул Александр Вампилов, друг Распутина. Вечером сидели в обкомовской гостинице, теперь она «Русь», Валя неожиданно сказал: «А поехали на могилу Сани». Получилось, что поехали только мы вдвоём. Поймали частника. Был гололёд, машина на подъёме перед кладбищем буксовала. Вышли, толкали. Я даже снял свой полушубок и швырял под колесо. Сей полушубок мне добыли на родине, и он был упомянут в стихе Валерия Фокина: «Солнце вятское светит ласково. Может, кто и нетрезв, да не глуп. Не похож на дублёнку канадскую твой тяжёлый ямщицкий тулуп».

Сорок три года. Это же сотни чаепитий, то у него, то у меня. Как он описывал заварку чая, так и заваривал. Процедура, священнодействие. Ополаскивал чайник, разогревал. Заварку клал бережно, но не экономил. Смеялся, вспоминая анекдот: «Евреи, не жалеите заварки». Смешивал чай. Добавлял привезённого чая «Курильского» или «Золотого корня». У него и жена Света такая же была, как он, чаёвница. «У нас может быть всё самое скромное, но не чай». Воду сильно не кипятил. Свежим кипятком заливал чай не до верха, накрывал шерстяной плетёной салфеткой, настаивал, потом отливал немного из чайника в чашку и выливал обратно. Это он называл «поджентить». У нас в Вятке делали так же, только называлось «учередить». Возил с собой в непрерывные поездки «заварную» ложечку с крышечкой в дырках, кипятивник. От этой ложечки разом всё вспомнилось – дороги по Японии, Монголии, Италии, Финляндии, Болгарии. А поездка в Тунис по приглашению Ясира Арафата. А на схождение Благодатного Огня в Иерусалим! И все эти выездные секретариаты, пленумы, съезды, дни литературы в союзных республиках. Да на одно, им начатое и проводимое событие каждого года, «Сияние России» сколько раз прилетал. А Карелия, Новгород, Минск, Киев, Белгород, Орёл... В Киеве долго шли от Киево-Печерской лавры через Аскольдову могилу, стояли потом у памятника великому князю Владимиру. Мурманск особенно запомнился: под Мурманском был ранен его отец. Почему-то ближе к полночи вышли. Площадь Пяти Углов. Странно и непривычно: по времени глухая ночь, а стоит белый день, солнце ходит, как наливное яблочко по блюдецку, на улицах никого, сонное царство.

Днём встреча на атомоходе «Ленин». Вначале экскурсия по этой громадине. «Не могу понять, чудо это или чудовище», – сказал он тогда. Ещё в Североморске встреча была. И в Апатитах. Или в Кировске? Нет, в Кандалакше. А его приезд в родную мою Вятку, в Великорецкое. Но всё бегом и бегом. Всё вспомнишь, да не всё перескажешь.

А как забыть финскую баню-сауну? Это 76-й год. Тогда эти сауны были где-то за заборами (песня была «А за городом заборы, за заборами вожди»), простые смертные о них только читали. Вот нас, мы приехали на совещание писателей Финляндии, повели в сауну. Мы побаивались: дело небывалое, вдруг опозоримся. Зашли с ними в парную. Они сидят, молчат. И мы сидим, молчим. Иногда поддают. Но вроде терпимо. Стали они почему-то по одному выходить. Выходят, выходят, и вот мы остались одни. Сидим, сидим, греемся. «Слушай, вроде неудобно, они

ушли, давай и мы выйдем». Выходим, они в ладоши хлопают. Оказывается, мы их всех победили.

И опять проблески воспоминаний. В Монголии такое есть место – नेताющий ледник. Жара плюс сорок, а под ногами лёд. Ходим по нему босиком.

В Италии, в Ватикане, в 1988-м, на приёме у папы римского, кардиналы в лиловом висят над ухом и интимно сообщают, что мы можем говорить с папой, но недолго, минуты по две. Валя говорит: «Бери мои минуты и говори с ним четыре».

А Божественная Литургия, причащение в Успенском соборе Кремля. Ежегодное Соборование в Великий пост у нас дома. Это же каждый раз не менее пяти часов. Но до того благолепно проходило. А заседания Комитета общественного спасения у отца Александра Шаргунова. Движение за прославление императора Николая и царской семьи.

А длительные поездки по русскому Северу с знаменитым народным академиком Фатеем Шипуновым. Ночлег у костра с видом на Ферапонтов монастырь. Утром ехали в Нилову пустынь, к Нилу Сорскому. Грязища, буксовали. В пустыни мужская психиатрическая больница. В центре огромная клумба, на которой, как на лужайке, лежат душевнобольные. Над ними высится статуя основоположнику, конечно, с ленинским жестом. Такие памятники повсеместно называли «Всю жизнь с протянутой рукой». Также психиатрическая больница, но уже женская, была и в бывшем Задонском монастыре. И туда Фатей нас привозил. Тяжелейшие впечатления. Фатей умел воспитывать русских писателей.

Дни славянской письменности и культуры в Вологде, Новгороде, Москве, Минске... В Минске пришли на встречу в Госуниверситет. А в огромном зале сидело человек двадцать. После говорю Ивану Чигринову: «Ну как же так, Ваня? Всё-таки Распутин приехал». Он хладнокровно: «Как вы к нам, так и мы к вам». Всё им Москва была виновата. Особенно в Киеве уже тогда чувствовалось отчуждение. Да и Кавказ. Писатели союзных республик громко сетовали на уничтожение их национальных культур, но детей отдавали в английские спецшколы.

Много ездили, много раз Алтай, Шукшинские чтения. Подмосковные научные центры: Черноголовка, Зеленоград, Обнинск, разве всё перечислить. Но было же. Ну не зря же было.

Вообще Валя был человек высочайшего порядка во всём. Чистота была его спутницей. Чисто в избушке, где жил; чисто брал ягоды; аккуратно на столе, за которым работал; в гостинице, в которой жил; номер оставлял таким, как будто в нём никто и не жил. Что говорить о его «бриллиантовом» почерке. Строчки как струнки. Бриллиантовым я назвал почерк сознательно. Есть мелкий шрифт, называется петит, есть ещё мельче, называется нонпарель, а есть совсем ювелирный, именуемый бриллиант. Одна его рукописная страница занимала потом чуть ли не десять машинописных. Отвечая на вопрос о том, как он работает, Валя улыбнулся: «Посижу-посижу, напишу строчку, посижу-посижу, зачеркну». Это не Астафьева взрывные скорости.

К знакам внимания Валя был безразличен. Они его даже тяготили. Вот, вспомнил, к месту, это мне рассказали в отделе рукописей Российской Государственной библиотеки (бывшей Ленинки). Немного мест в Москве, где он любил бывать, но этот отдел посещал всегда с радостью. Там доставалось увидеть, иногда подержать в руках такие тексты таких великих мужей Отечества! Однажды с нами был священник, отец Александр, и Виктор Фёдорович, заведующий, вынес Остромирово Евангелие, и этим Евангелием батюшка нас всех, а ещё сотрудниц отдела Марину

Николаевну и Елену Игоревну, благословил. Так вот, Валя принёс, это уже было в последнее его земное время, принёс в отдел целый пакет орденов и медалей и знаков отличия всяких и просил их взять. Но такого никогда не было в практике отдела. «Нет, нет, Валентин Григорьевич, взять не можем». Он грустно улыбнулся, а потом сказал, что, возвращаясь, выкинул этот тяжёлый пакет в мусорный ящик. Будто освобождался от земных нагрузок.

По характеру Валя не был оптимистом, даже, бывало, грустно шутил: «А если б к утру умереть, то лучше было бы ещё». И вместе с тем необыкновенно решительный. Мы с ним состояли членами Комитета по Государственным и Ленинским премиям. А была выдвинута на премию постановка театра имени Ленинского комсомола по Шолом-Алейхему. И нам её надо было смотреть. А там, по ходу, изображался еврейский погром. Зрелище ещё то. Страшные пьяные хари русских охотнорядцев, несчастные избиваемые евреи. Валя поглядел на меня и резко встал. Я понял, тоже встал, и мы, ясно, что не под аплодисменты, вышли. Оделись, выходим из служебного входа. Навстречу двое мужчин. Посторонились. Пошли дальше. Валя засмеялся: «Надо было их предупредить: там погром». В Комитете по премиям, конечно, наш поступок восприняли неоднозначно, особенно секретарь его Зоя Богуславская. В этом Комитете она всем и всеми командовала.

Беды России, нападения на неё он воспринимал обострённо, болезненно. Особо не обольщался тем, что кто-то в мире любит нас, читал: «Хорошо, что никого, хорошо, что ничего... – и заканчивал: – И никто нам не поможет, и не надо помогать». Когда, вроде как в утешение побеждённому коренному населению, демократы вывесили триколор над Верховным Советом, Валя, выступая на Всемирном русском соборе, сказал: «Россию можно похоронить и под таким знаменем, и под музыку Глинки. – И вспомнил эмигрантское: – Над нами трёхцветным позором полощется нищенский флаг». Да, флаг этот доселе, не знаю, как кого, а меня не вдохновляет. Его ещё и на лице стали рисовать. Как татуировка. А она знак или дикарей, или уголовников.

И когда в 93-м расстреливали здание Верховного Совета и передавали этот расстрел в прямом эфире, перемежая рекламой наш несмыслимый позор, когда русские стреляли в русских, Валя говорил, что ему уже никогда не очнуться от этого ужаса: «Когда всё кончилось, я отошёл от телевизора весь обугленный».

Потом они вместе с журналистом Виктором Кожемяко выпустили книгу «Эти двадцать убийственных лет» о 90-х годах, об уничтожении России.

И за его пронзительные повести и рассказы, особенно за образы русских женщин, за выступления в защиту достоинства русского человека, его любили. Вот пример: улетали с Ольхона и уже стояли у самолёта. Валя даже как-то виновато сказал: «Да, вот омулем на распялке не успели угостить». Это услышал кто-то из экипажа. И задержали рейс. Запылал костёр, явилось ведро свежего омуля, его стали особым образом разделявать, укреплять на рогульках перед огнём. Прошло всего двадцать, много двадцать пять минут, и мы пробовали незабвенный благоухающий продукт.

Сколько времени, здоровья, нервов убавляла борьба за сохранение памятников истории и культуры, борьба за издание исторического и философского наследия. Например, за «Историю Государства Российского» Карамзина. Наивные люди, мы думали: вот издадим Карамзина – и Россия спасена. Писали в инстанции, просили. Отвечали: нет бумаги. Тогда, в сентябре 91-го, пришли в Комитет по печати

Сергей Залыгин, Виктор Астафьев, Владимир Личутин, Гариф Ахунов, Анатолий Ким, Валентин Распутин, Василий Белов, Виктор Потанин, аз многогрешный и сказали: мы отказываемся от изданий своих книг и отдаём бумагу на Карамзина. И подействовало. А борьба с поворотом северных рек на юг. Первыми начал писать о повороте рек именно Василий Белов. Статью «Спасут ли Воже и Лача Каспийское море?». Потом Михаил Лемешев, учёные. А сколько сил ушло на «Байкальское движение», тут полностью заслуга Распутина. Бросали все свои дела и вставали грудью за Россию. Эти многолюдные вечера, поездки, хождение по кабинетам. Меня встретила Вика Токарева, мы с ней были в 68-69-м годах сценаристами Центрального телевидения, и спросила: «Слушай, зачем вам это надо? Вы же писатели». Да, писатели, но писатели русские.

Именно благодаря во многом Распутину и Белову роль писателя в России была самой авторитетной. Даже так бывало: что-то случается в стране, тут же вопрос: а куда смотрят писатели? Во всём верили нам. Например, выступаем на встрече, говорим, поэты стихи читают. Встаёт в первом ряду старик: «Это вы всё хорошо отобразили. Но скажите, как бороться с колорадским жуком?»

В палате я устроил иконостасик в углу, обращённом как раз одновременно и на восток, и на церковь в Беседах. Палату стал называть своей больничной кельей. И уже привык к ней и бежал в неё отдохнуть от процедур и очередей перед кабинетами. И постоянно утыкался в стекло с видом на церковь в Беседах. И всё больше хотелось побывать в ней. Вроде недалеко. Конечно, пересечь окружающую дорогу, по которой по шестирядному шоссе в одну сторону и шестирядному в другую несутся машины, сотни машин за минуту, невысказано. Но бывают же интервалы. Я даже вычислял: вот, вроде напор схлынул, тут бы я успел до середины добежать, отдохнул бы и дождался бы и на той стороне паузы в движении. Рискованно, конечно. Но если что, можно пройти вправо или влево, должны же быть переходы. Из окна не видно.

Но как пойти, когда каждый день расписан чуть ли не по минутам, ты всё время на виду, тебя опекают врачи, медсестры и одна санитарка, как?

И врачиха моя заглядывала, здоровьем интересовалась и даже удивлялась вроде, что чувствую себя хорошо. Как тут уйдёшь? А ведь туда и сюда надо самое малое часа три.

И всё-таки такой день представился. Мне сказали, что послезавтра на меня наденут прибор – холтер, который нельзя снимать целые сутки. С ним спать, с ним ходить, с ним есть и пить. И давать организму нагрузки и непременно их записывать, дали специальный лист, в котором велели отмечать, что с тобой было каждый час: ходил ли, лежал ли, спал ли или питался. Все процедуры на эти сутки отменялись, как и ежедневная капельница. То есть я был только под своим контролем.

Я понял: другого случая не будет.

А назавтра были предварительные выводы обследований. Римма Оскаровна много не говорила, но я и сам понимал, что у меня нашли или массу болезней, или их начатки, букет, как говорится. Всяких: от головы до сердца и лёгких, от сердца до желудка и ниже. Порции таблеток, приносимые с вечера и утром и выкладываемые на тумбочку, увеличивались количественно, а уж было ли количество качественным, знать мне было не дано. Но в этой больничной атмосфере казалось мне, что мне всё хуже.

На приёме увидел много нового внутри себя. Сердце, непонятно как снятое, трепетно и как-то судорожно трепыхалось на экране больничного монитора. Уменьшалось, увеличивалось, играло, прямо как солнце после пасхальной службы. Но то солнце. На миллионы лет рассчитанное, а тут маленькое сердечко. Казалось, вот-вот выдохнется.

– А ещё хотите посмотреть изнутри свой желудок? – спросила Римма Оскаровна.

И показала его на экране. Для этого я и глотал крохотную телекамеру. Противно было, конечно, но зато впервые увидел красоту своих мраморно блестящих стенок желудка. Представить, что им приходится соприкасаться со всякой животной и растительной, белковой и углеводной, твёрдой и жидкой, пережёванной и наспех проглоченной пищей было почти невозможно. И вот эту красоту заливать мерзостью мутного пива, обжигать водкой и коньяком, сваливать сюда, как в помойку, и заставлять перерабатывать недожаренное мясо, переваренную рыбу, всякие помидоры и картошку, бедный ты, мой милый желудок!

Да и что желудок! Разве почкам легче? Какое только пошло не лѐм в глотку организма, а почки всё это пропускают. А бедняжка мочевого пузыря! Что говорить. Дивно ли, что они устают и просят на покой. Одному только сердцу как достаётся. А могучая наша кроветворная печень. Да что говорить! Ходим мы, созданные Господом на диво, живые храмы духа Божия, и над собой издеваемся. Себя не ценим, не бережѐм. А ведь обязаны.

За день я всё продумал. Попросился на прогулку. По территории разрешили. Я ещё из-за того попросился, чтобы вернуть из камеры хранения куртку и ботинки. Сдал взамен больничные тапочки. Обулся, вышел и пошёл слева направо вокруг зданий по периметру. Глухо – заборы и проволока, оплетѐнная зеленью. Порядок лагерный – клумбы, аллеи, стенды о здоровой жизни, деревья и кустарники. Всё подстриженное, всё по линейке.

Я взаперти. Да ещё и этот карантин. Но давай завершу круг почѐта. И не зря: в направлении как раз к окружной кольцевой, которая ощутимо напоминала своим гудением, обнаружил, что за деревьями в одном месте бетонный забор заменѐн временным – деревянными щитами. Видимо, ремонт канализации. Экскаватор, маленькая бетономешалка, вагончик. Забор тоже высоковатый, но хотя бы без проволоки. И от корпуса далековато. И никого – ни охраны, ни рабочих. А-а, сегодня же суббота. Так ведь и завтра воскресенье. Они же специально навешивают на меня аппарат на выходные.

Вот тут-то мне и путь-дорога.

Вернулся в корпус. Внизу, в буфете, попил чаю с булочкой. Конечно, куртку не сдал. Скрутил её в свѐрток, взял под мышки и пошагал по лестницам. В лифте решил не ехать, там лифтѐрша, заметит запрещѐнный груз. Ботинки тоже были запрещены, но я как-то прошмыгнул мимо санитарки. А тапочки больничные остались в камере хранения, пусть думают, что меня выписали, искать не будут. У меня в палате свои, домашние, жена позаботилась, в них уютнее.

Вечерние, а после ночи (спал неважно) и утренние молитвы читал, обращаясь к церкви. Пошёл на процедуру навешивания аппарата. Боялся, будут долго возиться. Нет, молоденькая медсестра быстро-быстро напрытывала на разные места моей верхней части тела присоски с проводами, привесила на ремень коробочку, к ко-

торой эти провода сбегались, вручила листок, разлинованный на двадцать четыре деления. Это по часам наступающих суток. Надо было записывать, что делал, чем занимался каждый час.

Завтракать не стал. Может, надеялся на причастие? Хлеба всё-таки взял, положил в пакет. В палате выложил на видное место листок, в котором отмечал свои передвижения, написал: «9-00 до 12-00 прогулка по территории». Про себя подумал: врать нехорошо, но тут же придумал оправдание: нет, не вру, у меня не самовольная отлучка, у меня прогулка конкретно по территории Москвы и Подмосковья.

Позвонил жене, попросил молиться за меня.

– Я о тебе и так всё время молюсь.

– Сегодня особенно надо.

Это у меня непроизвольно вырвалось.

– Пожалуйста, не пугай. Какое-то новое обследование?

– Нет, нет, всё нормально.

– А почему особенно? Чего-то скрываешь?

Как мог, успокоил её. Телефон намеренно оставил в палате. Вышел из корпуса, перекрестился и пошагал. У щитов ограждения выбрал заранее намеченное место, закрытое высоким кустарником, проверил навешенную на меня сбрую, ещё поозирался по сторонам – вроде всё спокойно, и полез. Но сходу не получилось. Не от того, что не было сил, а от мелькнувшего страха, что зацеплю за что-то проводами, сдёрну датчики-присоски, и нарушу работу аппарата. Оглянулся, увидел ящик, подтащил, убедился в его устойчивости и с его помощью поднялся на забор. Перевесился на другую сторону, ухватился руками за край щита, спустил ноги и отцепился. Удачно: не упал и ни одна присоска не отлипла. Слава Богу.

Надо было пройти мокрую низину, плотно заросшую ивняком, по низу осокой. Ботинки сразу промокли. Впереди был ручей. Разглядел самодельную плотину из срубленных ветвей, перешёл по ней водную преграду. Значит, кто-то же ходил тут.

И ещё были преграды. Непонятно для чего раскопки, залитые водой, спиленные и необрубытые деревья. И это в черте Москвы. Наверное, строить чего-то собираются. А это место с моего этажа выглядело парково: пышная, красивая зелень. Уже с желтыми осенними сединками. Наконец, выкарабкался наверх и передохнул. Аппарату моему было что записать, эти нагрузки и тревоги.

И вот я перед Московской кольцевой автодорогой. Слева, но очень далеко, виднелся переход. Буду ждать, может, движение на немножко прервётся. Стоял пять минут, стоял десять. Какие там интервалы, о чём я наивно мечтал? Несутся стада ревуших механических, изрыгающих выхлопные газы, животных, сигналият, злятся друг на друга. Им в одно удовольствие смести меня с лица земли.

Куда денешься, двинусь к переходу. Хороша прогулочка на свежем воздухе, надышался досыта. Помогало то, что радовался близости церкви, которая иногда мелькала в просветах среди зарослей придорожных деревьев.

На середине перехода, на эстакаде, постоял. Подо мною неслась многотысячная колёсная жизнь: фуры, трейлеры, другие всякие большегрузы и бесчисленные легковые автомашины всех марок стран-производителей. Усмехнулся, вспомнив, как внук, уже очень современный ребёнок, всё допрашивал меня: «А это какая машина? А эта?» И раза два-три поймал меня на незнании, не смог отличить «хонду» от «хондая» и один «оппель» от другого. Тогда я, чтобы внук не очень-то задира

нос, выучил по значкам все марки и, торжественно допрашивая его, уловил на незнании «лексуса». Вернул свой авторитет и имел право сказать: «Ты б с таким усердием книжки читал».

А его папочка, мой сын, тоже Володя, у нас в семье все Володи, когда был ещё меньше, меня один раз чуть до сердечного приступа не довёл. С семейством Беловых были в Пицунде. Сынок не на машине, на мне ездил. На пляже я посадил его на плечи и пошагал вдоль берега. Анечка Белова увидела такое дело и тоже запротестовала на плечи отца. И вот, идём рядом, мой сыночек прыгает и прикрикивает в такт: «А мой-то папа выше! А мой-то папа выше!» У меня ноги подкосились: быть выше, и кого? Белова? Написавшего «Привычное дело», «Деревню Бердяйку», «Любу-Любушку», «Вологодские бухтины», «Всё впереди», «Кануны»? Да это, это... что говорить! Смешно сейчас читать мнения, что деревенская литература умерла. Это Иван Африканыч умер? Или Барахвостов? Или старухи Распутина? Или бабушка Катерина Астафьева? Это навсегда. Не только в истории литературы, в истории самой России.

Эта дочка Анечка вертела папочкой, как хотела, любил он её сильно и всё прощал. Возвращались из Пицунды, и они у нас в Москве ночевали. Улетали в Вологду завтра из Быкова. Вызвали такси, поехали. И вдруг Анечка в голос зарыдала: у куклы с ноги где-то соскочила туфелька. И что? Василий Иванович велит таксисту поворачивать. «Вася, опоздаем!» – Ольга Сергеевна нервничает. Но Василий Иванович не может огорчить Анну Васильевну. Возвращаемся и, четыре взрослых человека, ползаем по квартире, ищем туфельку. И находим! И вновь едем. И едем, и успеваем. Оказывается, вылет задержали на сорок минут.

Не забыть, как пригласил нас Александр Ведерников, великий певец, конечно, вятский, на оперу «Жизнь за царя», где пел главную арию. Встретил у служебного входа, провёл и посадил в ложу. Обязательно после спектакля велел не уходить, ждать его. Мы сидим и говорим, что надо же с чем-то пойти к нему. Бежать куда-то поздно. В перерыве пошли в буфет, купили по заоблачной цене три бутылки шампанского. Одну сразу уничтожили, две с собой. Что говорить о величии этой оперы. Всё в ней великое: и ария «Чуют правду», и «Слався» Глинки. Отхлопали вместе с залом (весь зал встал) ладоши, ждём. Александр Филиппович, ещё в гриме, приходит, обнимает: «Ко мне!» В его гримёрной достаём приношение, он смеётся, как только он мог, басом, густо, заливисто: «Да вы что? Да как это так: Иван Сусанин и шампанское?» И всё, как в сказке, появляется: и серьёзные напитки, и остальное к ним.

Уж заодно вспомнил и о шапке скульптора Клыкова. С ним меня познакомил как раз Василий Иванович. Он уезжал домой и просил проводить его. «Много книг нахватал. Ещё Слава Клыков придёт». А я уже знал работы Клыкова, особенно поразившую скульптуру «Старик и карлик». Познакомились. А тогда жили мы с Надей тяжело, не печатали меня. И у меня была очень дешёвая шапка, какая-то синтетика. И Слава всё на неё поглядывал. Уже пора собираться на вокзал. Слава встаёт из-за стола, берёт мою шапку, подходит к окну, а мы на одиннадцатом этаже гостиницы «Россия», и выбрасывает мою шапку со словами: «Русский писатель не должен носить таких шапок!» Тут же берёт свою роскошную шапку, даже не знаю, какой это мех, видно, что очень дорогая, нахлобучивает её на меня: «Носи. Дарю!» Я встаю, снимаю её, подхожу к окну и тоже выбрасываю со словами: «Русский писатель чужих шапок не носит». А декабрь, а мороз. Василий Иванович кричит:

«Ну, дураки, ну, дураки!» А мы вначале хотели на метро ехать, а тут как? Василий Иванович побежал к дежурной, вызвал такси. На вокзале бегом-бегом загрузили его, попрощались, бегом на стоянку. К нему, на Ордынку, все хотят ехать, ко мне, в Печатники, никто. «Поехали ко мне, – решает Слава, – найдём там у меня шапки». Вскоре и ему, и мне пришли посылочки из Вологды – Василий Иванович наградил двух дураков хорошими шапками.

В Харовске установлен памятник Василию Ивановичу. И на нём очень честны слова от имени жителей района, в котором как раз находится его деревня Тимониha: «Василия-то Белова мы знаем и любим, да вот не больно-то слушаем».

Я вышел за черту столицы. Ощущение России здесь было несомненное: улица села, деревянные крепкие дома, трава на обочинах дороги – красота! Пожалел даже, что иду не босиком. Пришёл к храму. Очень он напоминал храм Вознесения Господня в Коломенском. По своим летящим вверх формам. А по расцветке сиял чистотой белого и синего цвета. Зашёл. Служба, конечно, закончилась: поздно я вышел, долго шёл. В церковной лавке старушка подарила мне просфорку: «Сегодняшня». Заполнил поминания о здравии и об упокоении. Купил свечи и ставил их. Зажег только две: у праздничной иконы и у распятия. Остальные укрепил на подсвечниках. Даст Бог, зажгут на службе, может быть, уже сегодня. Прикладывался к иконам и к мощам. И в главном приделе Рождества Христова, и в Ильинском, и в Покровском, и во Всехскорбященском. Прочёл и историю храма. И так знал, но читать её не в книге, не в Интернете, а в самом храме было ощутимо благодатней.

Справа от входа стоял продолговатый невысокий стол, ясно, что для гробов. Видимо, недавно кого-то отпевали. Сколько же я помню отпеваний! И в сельских храмах, и в соборах: Георгия Свиридова и Владимира Солоухина в Храме Христа Спасителя, Леонида Леонова и Юрия Кузнецова в называемом москвичами «пушкинским» храме Большого Вознесения. Леонов жил рядышком с храмом, и мы с Валей бывали у него. Он рассказывал, как ему приходил Сталин. Ещё, к великому сожалению, много о болгарской Ванге. Он ей верил. И не он один. А для Юры Кузнецова символично было то, что в день его отпевания впервые пробовали колокола, вознесённые на колокольню храма. Очень сильные, звучные. И стихи Кузнецова в русской поэзии можно с колоколами сравнить. Стоял у гроба, вспоминал его первые московские книги стихов «Во мне и рядом даль» и «Край света за каждым углом» в издательстве «Современник», где мы работали и где я был парторгом. Выходили его книги с трудом. И помогло то, что я уговорил Юру вступить в партию и дал рекомендацию. «Это же не для карьеры, для прохождения рукописей». И в самом деле помогло. Гораздо позднее прочёл письмо Василия Шукшина Белову о том, что членство им помогало издавать книги. Хоть за это дорогой компартии спасибо. Тут же вспомнился фольклор 60-х: «Спасибо партии родной за любовь и ласку: отменили выходной, отменили Пасху». То есть объявили пасхальное воскресенье рабочем днём. Вот до чего доходило.

В церковном дворе были удобные для отдыха лавки. На одну я присел, вытянув приятно занывшие ноги. И вновь, будто дождавшись этой минуты, прихлынули воспоминания.

Василия Ивановича отпевали в Кафедральном соборе Вологды. Сильно мешала мельтешня телевизионщиков, журналистов, очень, видимо, обрадованных тем, что

ушёл Белов и некому будет их ругать, именовать «смишниками», называть телекамеру «свиным рылом», вынюхивающим только мерзости о России. Великий писатель, борец, пример во всём. Совершенно бесхитростный, прямой, смелый до безрассудства, часто обидчивый, но никогда не помнящий обид. Прямо ребёнок. Да ещё небольшого роста. «Я стеснялся, что я невысокий. И на гармошке выучился играть, чтобы как-то стеснительность побороть». Странно, но я никогда не чувствовал, что он меня старше, казался мне младшим братом, которого я обязан защищать. Но не мы, а он защищал, он был крепостью, а не мы. Несгибаемый в своей борьбе за человека на земле. На трибуне Верховного Совета он был страшен врагам России. Жириновский завизжал (это должно быть в стенограмме): «Уберите этого колхозника!»

Вот уж от кого никто не слышал бранного слова. И в их расхождении с Астафьевым ругань последнего, он даже при женщинах вставлял солёные словечки для украшения речи, сыграла не последнюю роль.

Виктор Петрович – особый случай. Конечно, мы ему в рот глядели. Когда он был в компании, то говорил только он. Первый раз я увидел его в его вологодской вотчине, деревне Сибла на рыбалке. Меня туда привёз Владимир Шириков, редактор областной молодёжки, начинающий тогда писатель. Ели уху из пойманной Виктором Петровичем рыбы. Тогда я был покорён силой импровизации и складом его речи. Говорил, будто пробовал на слушателях новые тексты. Как на нейтральной полосе хрюкал поросёнок, и как за ним ночью поползли и немцы, и наши, и как встретились у этого поросёнка. Воевать не стали, поросёнка поделили и вернулись: наши к нашим, немцы к немцам. Очень ругал военачальников – «трусами заваливали», вообще всю номенклатуру. Молодых писателей ругал за то, что торопятся писать. «Если хочется работать – ляг, поспи, это пройдёт». Смеялся над теми, кто гордился рабоче-крестьянской биографией. «У нас про таких говорили: Гли-ко, был рахит, а ходит». Ругал «поэтов-туристов» Вознесенского и Евтушенко. И упоминаемого с ними Рождественского. «Они место заняли, вытеснили настоящую поэзию. Вместо них надо ставить Рубцова, Горбовского, Кузнецова». – «А Высоцкий?» – «Это для сытых и для уголовников». Из сверстников ругал авторов про тихие зори и про белого кобеля с чёрным ухом. «Девчонки против диверсантов? Чего врать? Они бы им как цыплятам шеи бы свернули. А ещё бежит, стреляет, приплясывает, да ещё и поёт. Тьфу! И этот, собаку жалеет! Тут люди сотнями, тысячами гибнут, трупами заваливали, вот чего об этом молчит?» Фронтвики, мать их! Был ярый болельщик, помнил все матчи и по хоккею, и по футболу. «Вы понятия не имеете, кто такие Бобёр и Стрелец». На удивление знал кино. Из актрис нравилась ему Маргарита Терехова.

Знал я Астафьева наизусть, особенно его «Последний поклон», «Ода русскому огороду», «Васюткино озеро», «Царь-рыба». И, конечно. «Пастух и пастушка», но в том, первом виде, а в не в потом доработанном за счёт окопного словаря. В первой публикации у него тоже была цензурная правка. Иногда несправедливая. «Вот у меня, – говорил он, – “солдаты в серых шинелях лежали на снегу, как немытая картошка”. Чем плохо?» И мы соглашались, что это очень даже впечатляет. Тут и зрительный образ, и ощущение войны. Возмущались: какие ж собаки в этой цензуре – их бы под обстрел на снег положить. Но когда пошли у него тексты ненормативной лексики, это была беда. Правда жизни замазывалась похабщиной. Мало ли кто и как выражается, есть же традиции русской целомудренной литературы! Тут

мы были единомышленны: нельзя пачкать икону русского языка. Уже и «Людочка», и «Печальный детектив» читались с трудом, а роман «Прокляты и убиты» отвращал от себя матерщиной, как и совсем невесёлый «Весёлый солдат».

К ним в Вологде приходил Рубцов. Виктор Петрович прекрасно пел песни на его стихи.

И легко понять, что пути Белова и Астафьева разошлись. Ещё повлияло то, что Мария Семёновна, выпустив книгу, подала документы в Союз писателей. Белов был против. Но тут мы защищали Марию Семёновну: пишет ничуть не хуже сотен других писателей, жизнь прожила тяжелейшую. Фронт. И для Астафьева спасение. Евгений Носов называл её: мать-героиня с младенцем Витей на руках. Членство в Союзе писателей входило в рабочий стаж и давало право на пенсию. «А я загнусь, весь перекалеченный, как ей жить?» – горячился Виктор Петрович. Она вообще была в чистом виде каторжница: разбирала сверхкорявый почерк мужа, перепечатывала его тексты на пишущей машинке, он правил по машинописному, опять всё испереперепричёркивал, и она опять это перепечатывала. И так несколько раз. «Да книжки мои Витя даже и не читал», – говорила Мария Семёновна и с улыбкой рассказывала нам, как на одной из встреч с писателем к нему подошла женщина с её книгой и попросила: «Виктор Петрович, у меня с собой нет Вашей книги, подпишите книгу жены». Он, недолго думая, черкнул: «Бабе от бабы».

Переезд в Красноярск, на родину, восстановление родового поместья в Овсянке, рыбалка на Енисее были спасительными для Виктора Петровича. В Красноярске на него стал благотворно действовать отец Михаил Капранов, отсидевший вместе с Леонидом Бородиным за членство в антисоветской организации. Приходит батюшка к писателю. Сидят, разговаривают. Виктор Петрович увлечётся, залепит в свою живописную речь нецензурное словечко, отец Михаил тут же: «Пять поклончиков перед иконами!» Сделает Виктор Петрович земные поклоны, вернётся за стол. Забудется, и опять гнилое слово выскочит. Батюшка снова и снова непреклонно: «Раб Божий Виктор! Десять поклончиков!» Виктор Петрович его слушался и жаловался нам: «А мне-то какво с моим пузом?» Благодаря батюшке лексикон писателя очищался, и продолжайся так, мы бы не получили загрязнённых матерщиной астафьевских текстов последнего времени. Но бесы не дремали – отца Михаила перевели в Барнаульскую епархию.

В Японии мы с Василием Ивановичем были в гостях у профессора-русиста, и он подарил нам книги, которые издавала так называемая «третья эмиграция». В том числе сборник «Неподцензурная советская частушка». Вернулись в гостиницу. Через десять минут Василий Иванович ворвался ко мне в номер: «Ты смотрел эту мерзость?» – «Какую?» – «Частушки». – «Нет». – «Выкинь!» – «Но мне интересно». – «Выкинь! Дай сюда, сам выкину!» И забрал у меня подарок профессора: «Смотри!» Ткнул наугад. И в самом деле была явно сочинённая гадость, вроде антисоветская, а в самом деле антирусская, сделанная под частушечный размер. Конечно, образ сегодняшней России, созданный на Западе, создавали как раз не западные люди, а уехавшие от нас диссиденты, которым было все равно где жить, лишь бы жить сыто. А за что Россию не любили? За то, что легко обошлась без них. Да без них и воздух чище стал.

О, а как мы с Валей переходили на обращение к Василию Ивановичу на «ты». Он требовал: «Какой я вам Василий Иванович! Вася, и всё! И никакого на “вы”».

И дотребовался. С великим трудом, приводя в пример Виктора Потанина, который был на «ты» с Виктором Астафьевым, и Виктора Лихоносова, бывшего на «ты» с Беловым. Ну, наконец, осмелились. У Вали особенно ловко получилось. Сидели, говорили о том, что машинистки дорожают. Ещё застали времена, когда страница машинописного текста стоила десять копеек, потом пятнадцать, а теперь вот и во все – двадцать. «Это ж сколько мне придётся заплатить?» – «А ты пиши короче», – посоветовал Валя. Но отсечь отчество Иванович от имени Василия ни за что не смогли: «Василий Иванович, – говорил Валя, – не уговаривай, не сможем ни за что». «Ты только для Толи Заболоцкого Вася, – поддерживал я. – У него два писателя, два Васи, ты и Шукшин. Остальных он за людей не считает».

И как хорошо ещё при их жизни Анатолий Гребнев написал: «Тревожно за русское слово, // но вспомнишь – светлеет вокруг: // пока есть Распутин с Беловым, // не надо тревожиться, друг».

А когда они ушли, написал прощальное, из которого на память помнилось: «Я знаю, былью станет небыль, // мы и в гробу не уложим. // И босиком с тобой по небу // друзьям навстречу побежим. // По зову сердца мы над бездной // по звёздной тропочке пройдем, // и на скамейке поднебесной // друзей потерянных найдем. // И, вспомнив радостно былое, // забудет вечность о часах, // когда Распутина с Беловым // обнимем мы на небесах».

Толю они оба любили и ценили. Белов через меня передал для Толи листочек с таким словом: «От Степанова до Крылатского, то с улыбкой, то с тихой болью соловел я от слова вятского, послухмянного Анатолия. Прочитал наизусть, что было, жаль до Вологды не хватило».

Что говорить, в церковной ограде было самое время и место вспоминать об ушедших в вечность друзьях. А сейчас ещё и о том месте, на котором был. Это здесь происходил Военный совет перед Куликовской битвой, крупнейшей битвой Средневековья. И пытался его представить. Конечно, на нём говорили о неизбежной уже битве. Слушали доклады гонцов из тех княжеств, которые также откликнулись на призыв Димитрия и митрополита Алексия. Уже знали, что поход против Мамая благословил сам преподобный Сергей, а его благословение для русских было решающим. Спешили воссоединиться с основным войском. Слушали доклады гонцов от степной «сторбжи», которая следила за передвижением войск Мамая. Считали силы, оружие, припасы продовольствия и для людей, и для коней. Положили провести смотр войск в Коломне на просторном Девичьем поле у впадающей в Оку Москвы-реки. О, Коломна – город, где свершилось венчание юного Димитрия с нижегородкой Евдокией, будущей великой святой преподобной Ефросинией. В селе Беседы Димитрий сразу после битвы заложил храм. Вначале, как водилось на святой Руси, деревянный, потом Борис Годунов свершил каменный. Храм этот всегда был на особинку, именовался дворцовым.

Обошёл его вокруг, представляя бывавшие здесь и будущие крестные пасхальные ходы. Цветы устлали ограду. Вдруг, а не вдруг ничего не бывает, увидел указатель «К источнику». Конечно, обрадовался. Напьюсь, умоюсь. И напился и умылся. Но источник этот был ещё и купелью. Иконы на восточной стене, свеча горит. Раньше бы и думать не думал, погрузился бы. Но сейчас-то я был с навешенным на меня аппаратом. Но уже руки сами расстегивали пуговицы на рубашке и стаскивали брюки. А ботинки сами всех вперёд отскочили. Присоски не отпадут, думал я.

проблема в этой коробочке, нельзя её замочить. Может, не рисковать? Но желание погрузиться в исцеляющие целебные, несомненно, многократно освящаемые воды отмело сомнения. Я сообразил плотно обмотать эту коробочку в целлофановый пакет, добавочно окрутил этот узел снятой майкой. Не успеет промокнуть. Хлебушек из пакета и просфору положил под икону Божией Матери.

Подошёл к купели. Немного трусил. Прочёл молитвы: Отче наш, Богородице Дево, Царю Небесный, Правило веры. Молитвы прибавили решимости. Спустился по ступенькам, зажал в левой руке свёрток с коробочкой, правой крестясь, троекратно, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, погрузился с головой. Вышел. Испытанное ощущение, когда боязно погружаться, но зато потом так хорошо, так отраднo, так жарко, что об этом и не расскажешь. Можно только испытать самому. Это прообраз умирания и воскрешения. Конечно, страшно умирать, но зато воскрешаться в жизнь вечную – надеюсь-молюсь-верю – прекрасно!

Размотал майку, выжал. Выпростал из целлофана коробочку. Вроде сухая и целая. Одеваться! На ремне опять укрепил прибор.

О, отрада и утешение! Принял вначале просфору, потом поел больничного хлеба, запил водой. Остатки раскрошил птичкам.

Поклонился источнику, и почему-то в памяти мелькнуло, как летели с Вале́й в Венецию. Самолёт так долго и так близко к поверхности моря шёл на посадку, что казался не самолётом, а какой-то стремительной яхтой. Валя оторвался от иллюминатора и засмеялся: «Увидеть Венецию и утонуть». Это он напомнил известный тогда роман «Увидеть Рим и умереть».

Я ещё зашёл в храм и ещё поставил свечи. И записочки подал о родных и близких, и о себе многогрешном, болящем. Да, болящем. Но ведь по своей же вине. Врачей-то надо слушать. Все мы такие бываем: Господь не оставит, лечиться не буду, положусь на Его милосердие. Но и святые бывали врачи, и много их, и Амвросий Оптинский, сказав, что монахам «полезно прибаливать», советовал и лечиться, и наш старец Кирилл (Павлов) поправлял здоровье у врачей. Другое дело, что врач, к которому идёшь, непременно должен быть верящим в Бога.

А мои врачи? Верят? А врачи, лечившие Валю? А Василия Ивановича? Каких врачей надо слушать? Ответ: только верящих в Бога. Иначе никаких гарантий.

Обратный мой путь был куда легче и даже веселее. Ещё бы – шагал новорождённый в купели. Даже хотел идти напрямую, к зданиям центра, но потом себя урезонил. Опять вдоль ревушей Окружной до перехода, по нему, там опять вдоль трассы в обратном направлении и через хворостяную плотинку к забору. Посмотрел в щели, вроде тихо. Тут была проблема – с улицы не было подставки. Но как-то сумел. Подтянулся, вытянул себя, а на внутренней стороне помог ящик. Оттащил его на старое место. И вернулся в свою больничную келью, как называл палату. Позвонил жене.

– Я очень молилась. Ты меня напугал, я переживала.

– Но теперь-то успокойся. На свежем воздухе долго был. Ты знаешь, я что-то очень Василия Ивановича и Валю вспоминал.

– Я их никогда не забываю, всегда записки подаю.

– Да-а, твой борщ они всегда помнили.

После обеда долго лежал. Опять мысленно заново проходил путь к Беседам, храму, купели. Пытался оживить облик Димитрия Донского, виденный на иконе.

перевести его в живого человека, сидящего с воеводами на Военной совете-беседе, но было трудно. И не смог. И представить движение войска, храп и ржание коней мешал, конечно, доносящийся даже в палату надрывный рёв несущейся по кольцу техники. Но все равно чётко вспоминалась наша с Валею поездка на поле Куликово. Как мы ехали, как были у слиянии Дона и Непрядвы, как потом ночевали в домике прямо на Поле, недалеко от храма постройки Щусева, от памятника-колонны. Как ночью вышли, молча шли к нему и как молча вернулись. Храм с куполами в виде шлемов древнерусских воинов в слабом свете луны помнился отчётливо.

Валя, помню, сказал:

– Щусев человек был набожный, хотел во спасение души построить сорок храмов, а закончил тем, что построил мавзолей для Ленина. Вот как так?

На обратном пути поехали в Елец, и там наш первый духовник схииеромонах Нектарий (Овчинников) благословил Валею окреститься. Крестил на дому архимандрит Исаакий. Помню, как потом пили чай, какой просветлевший был Валя в белой рубашке. Отец Исаакий рассказывал, как отбывал срок в Средней Азии и как издевался над его верой начальник лагеря.

– Когда пришёл ему приказ о досрочном моём освобождении, то он на построении при всех издевательски говорит: «Это что, тебя твой Бог освобождает?» А со мной сидел уголовник, такой детина, меня слушал, когда я с ними говорил. И вот, когда начальник так спросил, то уголовник прямо из строя ему врезал: «А ты как думал?»

Да, вспомнил я белую рубашку, и кажется мне сейчас, что в ней или в такой же он был, когда иеромонах Иоасаф из Заиконо-Спасского монастыря приехал к нему, уже не встающему с постели, на последнюю в жизни исповедь и причастие. Я тогда впервые увидел Валею заросшего крепкой седой щетиной. Полное ощущение старца. Хотел ещё пошутить, мол, вот, Валя, всегда тебя уговаривал бороду носить и вижу, как она тебе идёт. Но уже не произнеслось.

Прощались. Нагнулся к нему и невольно встал на колени. Поцеловал. Тихо, но разборчиво Валя произнёс: «Больше здесь не увидимся».

И вскоре было прощание с ним в Храме Христа Спасителя, в алтаре которого есть памятная доска с начертанными фамилиями членов первого Общественного совета по возрождению Храма. Там рядом с фамилиями Георгия Свиридова, Владимира Солоухина, Владимира Мокроусова, Игоря Шафаревича написаны и наши. Валя тогда сказал: «Ради такой доски стоило жизнь прожить». После московского отпевания было и иркутское. А вот уже и на могиле побывал. И деревянный крест заменён на мраморный, и цветов по-прежнему много. И пусто вокруг.

Но вообще, как хорошо, что русские писатели сейчас избирают себе вечный покой на родине. Не в большом смысле – родина, Россия, а в самом сердечном, там, где родились и росли. Александр Яшин у себя в вологодском Никольске, Виктор Астафьев в красноярской Овсянке, Фёдор Абрамов в архангельской Верколе, Владимир Солоухин во владимирском Алепино, Пётр Проскурин на Брянщине... Жалко, что Василий Шукшин похоронен не на Алтае, а в Москве. Белов, помню, очень сожалел: «Какая глупость эта “престижность”! Что Новодевичье, что какое любое другое – одна земля. А Новодевичье – одна показуха. Скульптура: Юрий Никулин с папиросой, у ног собака, сидит на своей могиле, это что? Лежать надо на родине, её стеречь». «Могилы великого человека – национальное достояние», – сказал Пушкин.

И Валя писал в завещании: похоронить рядом с погибшей любимой доченькой Марусей, с любимой женой Светой, – ему и их уходы пришлось пережить. Но похоронили в ограде монастыря, в междуречье Ангары и Ушаковки. Но это очень хорошо. Валя всегда всех гостей водил в монастырь, к могиле землепроходца Шелехова. На памятнике стихи Державина «Коломб здесь русский погребен...». И это практически в центре города, а до Смоленского кладбища доехать не так просто: на мосту через Ангару постоянные пробки, и около кладбища трасса, машины шум, покоя нет.

Как всё летит! Нет Вали, и нет Василия Ивановича. Куда в Москве ни пойду: тут были, тут выступали, тут заседали, тут в театр, в консерваторию шли. И как теперь без них?

Василия Ивановича тоже долгие годы лечили. Страдал сильно, уже сидел в кресле, в письмах от него строчки становились всё слабее, сползали в конце вправо и вниз.

Узнали о его уходе в Доме литераторов на юбилее Станислава Куняева. В самом конце, после заключительных аплодисментов, будто он пожалел нарушить радость друга.

Поехали в Сретенский монастырь, ещё с нами Анатолий Заболоцкий, за рулём настоятель монастыря, нынешний митрополит Псковский Тихон. Уже близилась полночь. Подняли семинаристов, отслужили первую поминальную молитву о новопреставленном Василии. Отец Тихон при нас позвонил Вологодскому Владыке Максимилиану и губернатору, просил их посодействовать захоронению Белова в Спасо-Прилуцком монастыре, рядом с могилой Батюшкова. И договорились, и Ольге Сергеевне, уже вдове, позвонили, и она согласилась. Но вологжане, ссылаясь на его слова о захоронении рядом с матушкой Анфисой Ивановной, увезли в Тимонику. А там уже на многие километры вокруг пусто. Когда он говорил, были ещё деревни, сейчас человека не встретишь. Но возвышается и стоит на страже земли Белова церковь, почти в одиночку им восстановленная, стоит, не сдаётся.

Наконец я уснул. И спал аж до самого ужина. Чего же я в этот листок запишу – спал без задних ног, ибо свершил обряд исцеления – был в церкви и погрузился в источник? Написал просто: сон.

На следующее утро та же милостивая медсестра сняла с меня все эти присоски-датчики, унесла их, и вскоре меня вызвали к лечащему врачу, Римме Оскаровне. И она, глядя на изломанные линии каракуль кардиограммы, читая их понятный для неё язык, изумлённо вопрошала:

– А что это пишете: прогулка по территории. И откуда на прогулке такие нагрузки?

– Физзарядка для бодрости.

А про себя понял: это же я в это время через забор перелезал.

– А вот, около полудня, что это? Учащение пульса, резкий прыжок давления и резкий спад. Потом подъём до нормального. И потом всё хорошо. Странно. Потом, после обеда, такой долгий сон. Снотворное принимали?

– Нет.

– И ночь прошла нормально?

– Нормально. А сейчас как давление? – спросил я, чтобы отвлечь её от медицинских раздумий.

Померяла давление.

– Ничего не болит?

– Нет. Здоров как призывник. Который не уклоняется от службы в армии. Выпустите меня. На свободу с чистой совестью.

– Нет-нет, два-три дня понаблюдаем. Какой-то именно с вами особый случай.

На моё счастье до меня дозвонилась врач из монастыря, деликатно поинтересовалась моим состоянием. Я понял: у них появился кандидат на излечение или на исследование, и палату мне надо освобождать. Я просил её позвонить здешним моим распорядителям.

А она, здешняя моя врачиха, Римма Оскаровна, вошла сама. Опять несла белые листы-полотенца записей моего состояния прибором, висевшем на мне сутки.

– Простите, не могу успокоиться. Проверили прибор – нормальный. Думала, что он неверно показывает. Что вчера было с вами от девяти до двенадцати? Смотрите: читается напряжение, взволнованность, перебои в давлении, потом какой-то прыжок и потом всё прекрасно. Спокойный сон, ровный пульс. Нет, что-то было. Но что? Завтра снова на сутки поставим холтер.

– Нет, нет, – я всерьёз испугался. – Надо палату освобождать.

– Но как понять ваше вчерашнее состояние?

– Хорошо, признаюсь. Я был в самоволке. В самовольной отлучке. Перелез через забор...

– Ужас! Но это же грубейшее нарушение режима!

– ...перелез и пошёл через Окружную дорогу в церковь. Тут село Беседы, я его вам из окна покажу. Оно связано с Куликовской битвой, тут был Военный совет, беседа. Димитрий Донской. Но он тогда ещё не был Донским. Я вам расскажу.

– Какой Донской, о чём вы говорите, при чём тут давление? – возмутилась она.

– При том, что там я погрузился, не нырнул, погрузился трижды с молитвой в источник, вот и всё. И здоров. Тем более вчера было воскресенье. Малая Пасха.

– Какая Пасха! Что вы мне будете глупости говорить! – Она разбушевалась. – Вы понимаете, что это ненормально? Мы вас лечим, а вы? Лепите мне тут всякую фантастику. Вы же могли простыть.

– Какая фантастика? Православная реальность. Но грубейшее нарушение больничной дисциплины – тоже реальность. За это меня надо наказать. Выписать. Очень прошу.

Я уже дома. Подхожу к окну. Гладкость и прохладность стекла напоминают окно моей больничной кельи. И вижу бело-синюю церковь в Беседах. И вспоминаю, как от неё можно спуститься к источнику. И перекреститься, и погрузиться. И исцелиться. И зажечь в храме свечи у икон, и подать записочки об ушедших друзьях. И быть уверенным, что они тебя видят. И слышат. И всех нас.

